ИЗВЕСТИЯ
WWW.IZVESTIA.RU

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ:

Я с молодости люблю портвейн

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

— Теперь снимок, где вы с родителями. Маленький мальчик, лысенький...

— Лысым я стал в отца.

«Это я с мамой и с ее братом»

— Да нет, тут вы пока еще стриженый под ноль.

— Еще, простите, об атлетической фигуре. Я впервые почувствовал, что стал сильным, когда сжал руку отца и он закричал: «Ой, отпусти, отпусти, больно!»

— На этом снимке вам лет девять-десять...

— В чем я?

— Курточка, белый воротничок, красный галстук.

— Все трое печальные?

— Да.

— Это я с мамой и с ее братом. Это мой дядя Борис перед отправкой на фронт. Он служил в танковых войсках еще до начала войны. Началась война, он приехал в отпуск и потом вернулся обратно на фронт.

— Как сложилась его судьба?

— Ничего. Вернулся живым. Долго водил трофейный грузовик. Назывался MAN, трехосный. Я очень любил эту машину. Мы к его аккумулятору в послевоенной Одессе подключали новогоднюю елку — и она вся сияла.

— То есть вы зря такие грустные — все сложилось неплохо.

— Но он уходил на фронт. И мы ничего не могли предвидеть.

— Еще снимок. Младенец лежит на животе, приподняв головку. Какая-то шкура, позади венские стулья...

— Вы хотите, чтобы я вспомнил, что я видел, задрав головку?

— Да.

— До этого моя память не простирается. Хотя... Я помню, представляете, я помню предвоенное детство. И женщины, меня не стесняясь, ходят дома абсолютно ни в чем. Такая была жара. А этот снимок, наверное, сделан у маминой сестры тети Клары в Одессе. Мы сами жили тогда в городе Томашполе Винницкой области. То есть меня привезли рожать в Одессу, меня родили и тут же увезли обратно в Томашполь, где отец был главврачом больницы. Больница была такая барская, построенная еще при царе. И мы жили прямо при больнице.

— Я заметил, что в последнее время вы стали часто вспоминать отца.

— А я все время пишу ему письма!

— До сих пор?

— Ну, последние пару лет не писал. Он умер в 57-м году, и я рассказывал ему и про перестройку, и там... про все встречи свои.

— Ответов не получали?

— Все время продолжается разговор. Этим летом написал его советы мне. Он говорит мне, что такое характер, что такое этика, как относиться к женщинам. Это такие медицинские советы — всегда очень тактичные, правильные. Врачи потому и становятся писателями, что они — в принципе писатели. Они все время связаны с людьми, и подход к человеку, умение угадать человека, распознать кроме болезни еще и хозяина этой болезни — это профессиональное. Что-то он успел мне сказать, а что-то я все время дописываю за него. Его наблюдения за больными различными болезнями — не только медицинскими, но и всякими другими — психологическими, всякой там ревностью, вспыльчивостью, всякими человеческими дрязгами.

— Вы эти письма не печатаете?

— Два вошли в четырехтомник, а последние нет, не печатал. Могу дать их в «Известия».

— О! Так давайте!

— Они не смешные такие... Это же наставления...

— Что ж мы, все время хихикать должны?

— Да, вы правы, хорошо бы побольше таких читателей... Но только можно я их не сейчас дам? Мне их самому перечитать надо, почистить. Во всяком случае, можете сказать, что такие письма есть и мы их будем печатать.

— Договорились. Теперь фотография, на которой вы давите виноград и, видимо, собираетесь делать из него вино.

— Да, это тот случай, когда я уже перестал принадлежать самому себе. Тот период моей жизни, когда где бы я ни появлялся, встреча уже была подготовлена. И никакой силы характера, никакой злости не хватает, чтобы отменить, скорректировать как-то... Хотя... я, наверное, сам к этому стремился. Короче говоря, это Симферополь

«Вы хотите, чтобы я вспомнил, что я видел, задрав головку?»

десять лет назад. К моему 60-летию Симферопольский винзавод хотел сделать вино, несколько бутылок, может, ящик вина, которое называлось бы «Михал Михалыч». Я образцово-показательно давил виноград ногами, хотя предпочел бы пить вино, приготовленное женскими ножками. Но... при стечении народа давил сам.

— Одну эту кадушку?

— Я-то надавил одну эту кадушку, а остальное они сами. Сделали какую-то смесь — нечто крепленое, сладкое. Но, как ни странно, мне понравилось — я вообще к такому привык, с молодости люблю портвейн. Больше люблю сладкие вина с запахом домашнего винограда — типа «лидии», «изабеллы» — чтобы пахло, пахло, чтобы я знал сорт. Я французских вин не понимаю. Говорится о каком-то пословкусии, нужно быть очень аристократичным и эрудированным, чтобы пить такое вино. А я пью по-домашнему.

— Согласен, портвейн на пляже как-то роднее.

— Пили не совсем чтобы «Три девятки» или «Три шестерки» — так, что ли? А такой, знаете, портвешок. Мы в молодости не знали, что есть настоящий портвейн. В порту пили другое. Бутылка горячая, из бокового кармана пиджака, из внутреннего кармана брюк горячая. Из горла. Чаще всего из горла. Быстро и вкусно. Конфета простая — не «Мишка на Севере», а соевая чаще всего. Нормально. Хорошо.

— На снимке втроем — Карцев, Ильченко и вы. Перед вами на столе нечто круглое...

— Это в Австралии. Хороший снимок получился в Австралии. Мы в свое время как бы поощряли эмиграцию из СССР, и когда на Западе накопилось много наших слушателей, мы стали ездить. Это было прекрасное время! Это не были, правда, ни Австралия, ни Америка, ни Германия... Это были наши люди. Куда ни входишь — все та же «Литературка», та же селедка, та же картошка. Но вокруг была Австралия! Кенгуру, коалы, эвкалипты, океан. И главное — другое время года. Отсюда вылетаешь зимой, туда прилетаешь летом. Ходишь головой вниз, и так приятно, что там тоже живут наши. Я, помню, попал в Австралии в пентхаус, где жил один одессит. Прямо на крыше он построил дачу — «одесский курень». У него были там цветы посажены, скамейка садовая, что-то росло на грядочках на крыше, и такое что-то стояло полуфанерное, и под небом, ночным небом со звездами, под Южным Крестом — одесский дух. Это было прекрасно. И мы ели каких-то креветок — раков нет, к сожалению, в Австралии — ели креветок и запивали пивом.

— Это какой год?

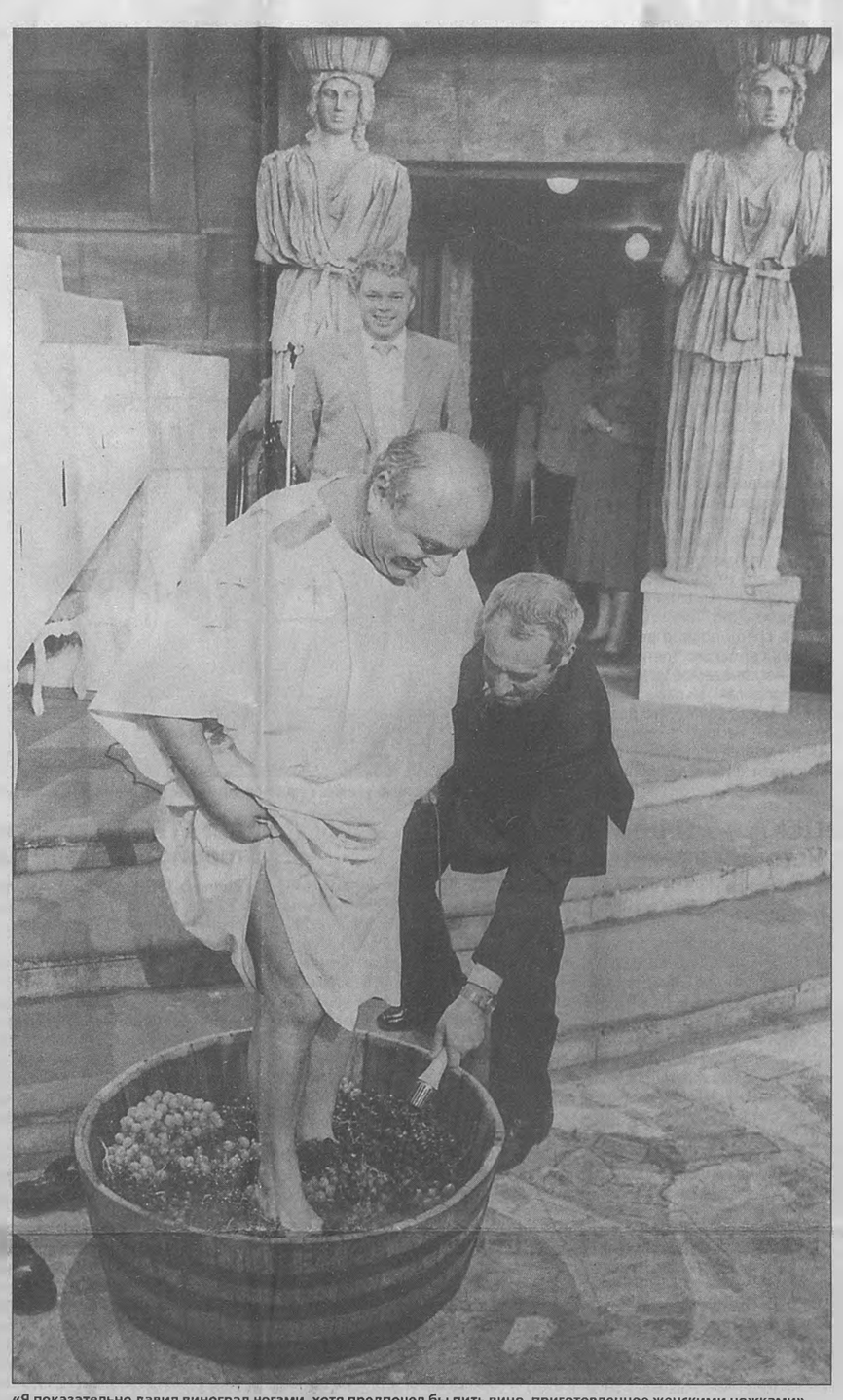
— Восемьдесят девятый — девяностый.

— Я не нашел в альбоме ни одного снимка с Аркадием Райкиным.

— Их у меня много вообще-то. Наверное, все разобрали. Райкин охотно снимался. Поражал элегантностью. Мы все старались подражать ему. На снимке увидите — мы все стоим затянутые в свои костюмы — и он, красивый, элегантный, европейский. Он производил неотразимое впечатление просто при приближении. Мы все старались смотреться красиво, подходя к нему.

— Получалось?

— Не слишком. Он был красивый, стройный, высокий. У него



«Я показательно давил виноград ногами, хотя предпочел бы пить вино, приготовленное женскими ножками»

личной стали. Из какой-нибудь ерунды, из куска отхода мы вытачивали палец для гусеницы нашего трактора — и этот палец переживал весь трактор.

— То, что вы были сменным механиком, позволяло вам писать?

— Я приходил после смены домой — красивый, молодой. Поспал часа четыре — и свободен. Вечером репетиции, ночью можно писать. Очень хорошая была работа. И главное — море рядом. Летом море, зимой море — главное, что ты не под крышей цеха. Приходят пароходы, разворачиваются, подходят к причалу — американские, английские, итальянские. Все остальные жители Советского Союза к ним даже близко подойти не могут. И я тоже, правда, ступить на палубу не могу — у трапа стоит пограничник. Но я был рядом с этой чужой жизнью — и это мне придавало тогда большой вес в собственных глазах. Кроме того, приходили в порт апельсины, бананы, орешки — мы первые их пробовали.

— Да, повезло вам...

— А что? Это был 63—64-й год. Кто их тогда видел, эти бананы? А мы их уже ели!

— Последний снимок. Сцена, столик, кофе, стул с портфелем. Вынужден задать банальный, наверное, для вас вопрос про портфель.

«Хороший снимок получился в Австралии»

— Портфель перешел ко мне от отца. Он маленький, в него помещаются только бумаги. Но отец ходил с ним по вызовам, когда работал хирургом в одесской поликлинике номер семь. Почему он ходил по вызовам? Делал какие-то визиты к пациентам... Носил в портфеле истории болезней. Мне мать передала его. Передала ордена после смерти отца, несколько его писем с фронта. Вот такой портфель.

— Вы специально всегда выносите его на сцену? Это часть имиджа?

— Не-е-ет! Я просто пробовал папки — оказалось очень неудобно. Я даже не помню, как я впервые вышел на сцену с портфелем. Но быстро привык — удобно. Моя фотография в «Нью-Йорк таймс», когда я приехал в Америку — у меня был концерт в «Карнеги-холле», — была подписана так: «Еврей с портфелем». Портфель стал кусочком моего имиджа, о чем я не сразу узнал.

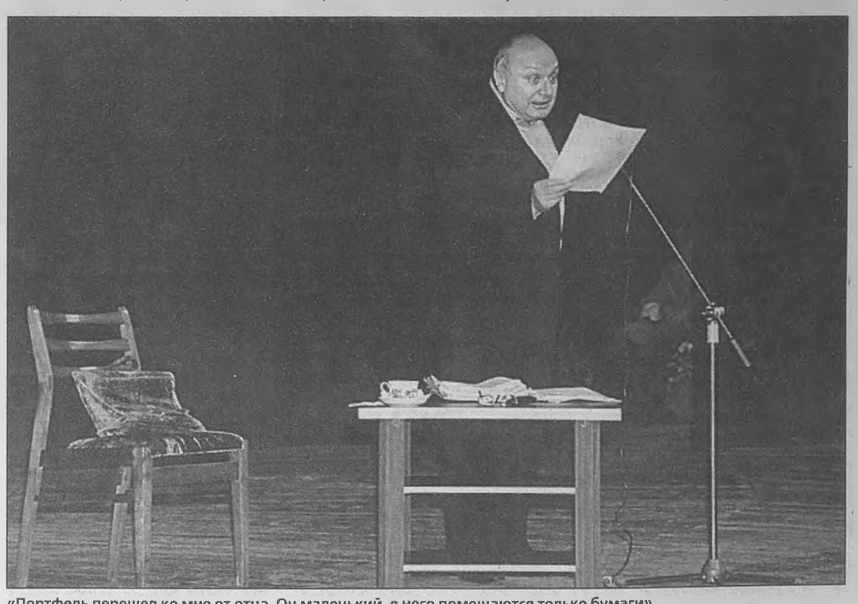
— А когда узнали, начали работать над образом?

— Мне время от времени приходят такие записки: кто, мол, работает над вашим имиджем? Никто не работает — как выгляжу, так и выгляжу. И вообще стараюсь в зеркало не смотреть. Стараюсь не смотреть передачи со своим участием.

— А вы очень неплохо смотритесь.

— Вот и хорошо. Вот и чудесно.

С разрешения своего удивленного телефонного собеседника — обозреватель «Известий» Борис ПАСТЕРНАК



«Портфель перешел ко мне от отца. Он маленький, в него помещаются только бумаги»

Роман КАРЦЕВ, актер:

У него есть парадоксальные вещи, их надо учить, как английский язык

Для меня Жванецкий и друг, и коллега, и отец родной, и цензор. Отец потому, что главное для любого артиста — это автор. А Жванецкий — это Богом посланный автор. Цензор — потому что всегда строго следит за тем, как мы играем, как произносим его тексты. Он очень требовательный. У него есть парадоксальные вещи, их надо учить, как английский язык. Нужно точно произносить то, что он написал, потому что Жванецкий четко выверяет интонацию и ритм произведений. А есть вещи, которые звучат, как стихи — «я никогда не буду высоким. И красивым. И стройным...»

100 монологов и 500 миниатюр Жванецкого — и все любимые. Были миниатюры, над которыми мы работали годами, но они все равно не получались, почему — непонятно. Но от этого они не становились менее любимыми. Мы не играем то, что нам не нравится. Творчество Жванецкого — это высота, недосягаемая ни для одного автора в нашем жанре.

Ирина ХАКАМАДА, кандидат в президенты России:

Под влиянием его творчества люди начинают самостоятельно оценивать все вокруг

Жванецкий столько лет на сцене и в умах, что не оказать на них влияния просто не мог. Ведь сатира может быть умной, заставляющей думать, заставляющей с иронией относиться к самому себе, к обществу, к которому принадлежишь. А может быть такой примитивной, что люди приходят в невменяемое состояние, смеются непонятно чему, — в общем такой, которая сейчас со всех экранов на нас льется. Жванецкий отличается от всех. Под влиянием его творчества люди начинают самостоятельно оценивать все вокруг и в том числе власть — это, наверное, самая важная отличительная черта творчества Михаила Жванецкого.

Лариса РУБАЛЬСКАЯ, поэтесса:

Он вернул мне утраченные эмоции

Я не так давно была в концертном зале «Россия» на вечере Жванецкого. Что я могу сказать? Я давно уже на свете живу, много чего повидала и все воспринимаю разумом, а не чувствами. И я очень благодарна Жванецкому за то, что он в тот момент вернул мне утраченные эмоции. Я была потрясена его подходом к темам, невероятной глубиной его коротких изречений. Я даже не всегда смеяться могла, потому что горло перехватывали спазмы. Жванецкий пишет едко, смешно и остро. Но со временем в его творчестве мне становится все заметнее тема бренности жизни, и от этого иногда бывает грустно.

Бари АЛИБАСОВ, продюсер:

Мою жизнь деталями наполнял Жванецкий

У меня возникает очень щемящее ностальгическое чувство от того, что уходит прошлое, которое для меня связано с Жванецким. Я человек аналитического склада, а каждому аналитику не хватает в жизни эмоциональных деталей. Мою жизнь этими деталями наполнял Жванецкий. Не много есть людей, которые оказали на меня такое же влияние, как Высоцкий и Жванецкий. Он одной фразой мог выразить абсурдность ситуации — как в рассказе про раков, помните? Я его считаю величайшим философом и психологом нашего поколения. Я говорю о нем в прошедшем времени, потому что это мое прошлое, моя юность, когда у меня формировалось восприятие жизни и он мне в этом помогал. Это один из немногих людей, которые в жизни не отличаются от того образа, который они создают на сцене.

Записала Алина ТРЕНИНА-СТРАУСОВА

«Вы что, с ума сошли? — закричала она. — Это я, Пугачева! Вставай, народ»

Эммануилу Моисеевичу Жванецкому от сына. Отрывок из письма

Ну что ж, отец. Кажется, мы победили. Я еще не понял кто. Я еще не понял кого. Но мы победили. Я еще не понял, победили ли мы, но они проиграли. Я еще не понял, проиграли ли они вообще, но на этот раз они проиграли...

Так вот. В середине августа, когда все были в отпуске, я мучился в Одессе, пытаясь пошутить на бумаге, хлебал кофе, пил коньяк, лежал на животе, бил по спинам комаров, испытывал на котах уху, приготовленную моим другом Сташком вместе с одной дамой, для чего я их специально оставлял одних на часа три-четыре горячего вечернего времени, вдруг на экране появляются восемь рож и разными руками, плохим русским языком объявляют: «ЧП, ДДТ, КГБ, ДНД...»

До этого врали, после этого врали, но во время этого врали как никогда. А потом пошли знакомые слова: «Не читать, не говорить, не выходить. Америку и Англию обзывать, после двадцати трех в туалете не ...ать, больше трех не ...ять, после двух не ...еть». А мы-то тут уже, худо-бедно, а разбаловались. Жрем не то, но говорим что хотим. Даже в Одессе, где с отъездом евреев политическая и сексуальная жизнь заглохла окончательно, — встрепенулись. И встрепенулись все! Кооператоры и рэкетиры, демократы и домушники, молодые ученые и будущие эмигранты.

Слушай, пока нам тут заливали делегаты, депутаты и кандидаты, мы искали жратву, латали штаны, проклинали свою жизнь, но когда появились ЭТИ, все вдруг почувствовали, что им есть что терять. Не обращай внимания на тавтологию, в Одессе это бич. Слушай, я такого не видел. По городу ходили потерянные люди. Оказывается, каждый себе что-то планировал. Слушай, и каждый что-то потерял в один день. Вот тебе и перестройка, вот тебе и Горбачев.

Одна бабка сказала: «А я поддерживаю переворот. Масло будет». Ее чуть не разорвали...

— Масла захотела! Она масла захотела!

...А настроение было хреновое, отец. Я затих. Опять, думаю, буду знаменитым, опять в подполье, если не глубже. А твой проклятый солнечный город у моря и в мирное время отрезают ото всех киевским телевидением. Ни одной новой московской газеты, ни одной передачи, а тут вообще всюду радио и из каждой подворотни: «...запретить, не ходить, не ...ать, не ...ить».

Так что сижу — жду звонка. Звонит наша знаменитая певица, ты уже ее не знаешь, отец. Перелезла она через забор своего санатория, и пошли мы с ней на пляж «Отрада». Жара. Народу полно.

«Эй, — кричит она, — вставайте. Вы что, не знаете, что чрезвычайное положение?» Все сказали: «Не знаем». А кто-то сказал: «Знаем». А кто-то сказал: «Нам вообще на это дело...» А кто-то даже головы не поднял.

— Вы что, с ума сошли? — закричала она. — Это я, Пугачева! Вставай, народ.

Тут их всех как ветром собрало.

— Ты смотри, — закричали они, — Алла Борисовна. Сфотографировать можно?

— Давай, — закричала она, только с этим, со Жванецким давай.

— Давайте, — закричали тридцать фотографов. — А автографы можно?

— Нет, — сказала хитрая певица, — это плохая примета.

Никто не понял, но все согласились.

— Чрезвычайное положение, все запрещено, — вскричала она, — поэтому мы все сейчас пойдем на другой пляж. Сколько нас здесь?

— Человек пятьсот.

— Мало. Еще давай. Митинги запрещены, но у нас не митинг, а демонстрация. Что будем делать, если нас арестуют?

— Перебьем всех, — радостно ответила толпа.

— Тогда пошли на другой пляж. Там еще людей соберем.

Все пятьсот с фотографами и детьми пошли на соседний пляж, там присоединилось еще пятьсот.

— А теперь все в воду, — закричала певица, — как на крещении.

— Сейчас я разденусь, — крикнул один.

— Не раздеваться! Кто в чем. Чрезвычайное положение.

И все вошли в воду. Пятьсот и еще пятьсот и запели «Вихри враждебные веют над нами», и запевалой была она, и они были хором. А я на берегу проводил летучий митинг-беседу с теми, кого интересовало, что такое чп, дп, кгб, кпу.

— А теперь, — сказала Алла опять гениально, — вы все останетесь здесь, а мы пойдем.

И мы пошли. А из всех щелей Одессы дикторы Всесоюзного радио шипели: «...запретить, сократить, наказать, посадить». Настроение у нас стало прекрасным. Мы были, наконец, вместе со своей публикой, и мы не знали, мы, к стыду своему, не знали, что в Москве народ пошел против танков.

Представляешь, отец, когда ты жил, люди боялись анекдотов, когда я жил, люди боялись книг, теперь, когда живут они, они не боятся танков. Вот что значит людям есть что терять...